

Юрий Гудумак

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в литературных изданиях «Дети Ра», «Новая Юность», «Новый берег», «НЛО», «Воздух», «Волга», «TextOnly», «Цирк “Олимп” + TV», «Артикуляция» и др., в ряде поэтических антологий, а также переводились на английский и румынский языки.

САДЫ АДОНИСА

К адониям

Что-то уже похожее на тепло
ближайшего оборота вокруг солнца,
и с дальновидным расчетом
разбросанные по баштану камни,
подобно болонским, излучают ночью
накопленные за день лучи.

Некоторые из камней
действительно оказались божками съестных припасов,
предвосхищая (шутки в сторону) эру
наших аграрных дел:

лишенный головы человеческий глаз,
едва помещающийся в руке, в огромном зрачке которого
отражается водоплавающая птица*
(*чернети или крякве,
остановившейся
на перелете из теплых в холодные места,
кажется, что она уже избежала жары адоний,
приходящихся на конец июня);

два яйца,
размером с гусиные,
но цвета охристого железа, чуть ли не сурика, как у пустельги*
(*сросшиеся в одно как бы яйцо в квадрате, символизируют
изобилие будущих вылупков этих мест –
бывший Яичный берег);

продолговатый валун, испещренный
рунической чешуею каменной рыбы*
(*в две ладони длиной и в одну шириной, –
чешуйник-карп высохшего водоема Камболи,
по-прежнему видящий сны,
не смыкая век).

Я нашел их,

карабкаясь по глинистым кручам шиповниками Дождливой.
Мягкий, хорошо поддающийся обработке, песчаник.
Серый с коричневым.
Тот самый,
в котором впоследствии станут возможны
дивные украшения пламенеющей готики.

Доломитовая основа из миллионов
лучевидных скелетиков радиолярий-солнц,
застывших в зените в нерешительности,
стоит ли продолжать.

Но, прежде чем,
раскалившись летом, сожгут посевы,
теперь они защитят их, по крайней мере,
от холода.

Сады Адониса

Взошедший было редис
я заранее совершенно верно причислил к «садам Адониса».
«Сады Адониса» состояли, к слову сказать, из растений,
быстро пускавших ростки
и столь же стремительно увядавших,
искусство выращивания которых за восемь дней
символизировало в незапамятные мифологические времена
восемь месяцев трудов и забот земледельца.

Растения эти
выращивали в горшках.

Мудрость *Георгик* Вергилия,
императивом косневшая в голове,
никогда не выглядела бы, улыбнулся я,
столь уместною, как сейчас:
«Восхваляй обширные земли, —
над небольшою трудись...».
Во всяком случае,
бросив в ямку
пару пятнастых отборных бобов,
предварительно вымоченных в воде,
я основательно, со знанием дела, загнал в землю
суковатый костыль ровно такой величины,
какую хотел придать побегу стручковой фасоли.
Я старался не думать о том,
что корзина с первинками урожая
наполнится, похоже, не раньше,
чем расцветет костыль.

После того,
как все мыслимые и немыслимые

сроки прорастания, цветения и развития передвинулись – настолько, что аномалию климата сподручнее стало вдруг объяснять переменой места, – полагаться на то, что такого не может быть никогда, я не мог.

Если некоторые из растений при перемене места действительно не желают расти, то иные из них, напротив, – вырождаются и превращаются в невообразимый дичок. Я уже знал, что травянистый вечнозеленый барвинок, растущий под голым розовым кустиком – чертополохоподобным, если колючки последнего не считать за листья, – вовсе и не барвинок, а «карликовый лавр» Феофраста. Обыкновенная же петрушка, «частично вечнозеленая», – почти по Диоскориду – была не иначе как «сельдереем».

Само по себе это не обязательно так уж плохо. Быстро отцветающее весеннее растение-анемон для тех же классических греков, имея в виду, что год у них начинался лишь в середине лета, растение позднее, а не раннее. В рассуждение чего – разве не видно? – для них оно, хоть и всходило при ветре, все-таки означало «вздох».

Безразлично, впрочем, как понимать все это, когда период солнцестояния – он же пояс безветрия и солнце переворачивает низом вверх оливковый лист и страницу рукописи.

Тогда-то и узнаешь, что солнцеворот прошел.

Тогда последняя из оставшихся гомерид, цикада, начинает отсчитывать своим залитым солнцем голосом – аффрикатой «ц» – новый аттический год. Сначала – солнечный жар в золотистых протуберанцах бессмертника, потом – его смешанный с медом пепел.

Сады Адониса (*bis*)

У морской атлантической соли форма кристалла – правильный куб; у сахара – принесенный медвянотекучим потоком ветра правильный шар;

остроконечная продолговатая форма селитры
обнаруживает действие ветра, отклонившегося
от первоначального направления на половину ветра
и еще на четверть, переменившегося наконец на южный.

Воздух пустынной зыби, он похож –
не так ли? – на облетевшую розу ветров:
ни облачка цветочной пыльцы. Ни зерна пыльцы,
способного принимать бесконечно разнообразные формы,
которое мы толкуем как полиморфное тело,
и никогда – куб.

Период расцвета бабочек,
существовавших внешне уподобляясь цветам,
сменился таким же, по-африкански коротким, периодом,
когда цветы, коэволюционируя вместе с дневными бабочками,
становятся одновременно тем и другим
еще на одно мгновение –
окрыленных цветов.
Коль скоро цветы умирают,
они умирают – не так ли? – претерпевая метаморфозу.
Взращенный асфоделевым стеблем червяк – и тот
превращается в насекомое вроде шершня:
съев увядший стебель,
оно улетает.

В числе насекомых,
возвещающих лето, оно возвещает лето –
счастливый удел стремительно рыжеющей саранчи
среди иголок травы, похожей на колючее пламя, –
по-африкански долгий сухой сезон –
цитату из нашей осени:
ломкий ссохшийся сучок-стебелек
горазд оказаться запоздалой стойкою богомола,
коробочка-плод – подвернувшей лапку
золотистой бронзовкой.

Анакреонтовский звук просыпающейся цикады: Сады Адониса (II bis)

Анакреонтовский звук просыпающейся цикады,
когда она воплощает разом живую цитату и часть тишины.
При высоком положении барометра, сухой погоде
и безоблачном небе аффриката «ц»
кульминирует в удвоенное *си*.
Предельная степень тишины удвоенного *си*
делает восприятие в такой степени четким,
что тишина напоминает скорее прозрачность воздуха,
когда растения – растения*
(*Прим. Растения
становятся реальными лишь в той степени,

в какой перестают быть самими собой:
не иначе как распускаясь,
опадая, принося плод) –
когда растения приобретают резкие –
как стрекотанье цикад – очертания, какие они имеют
на островах Средиземноморья.

Простейший опыт.
И он учит нас, что у перцепции нет объекта;
что всякая перцепция, следовательно, галлюцинаторна;
что листья растений в садах Адониса,
едва распустившись,
заворачиваются от действия палящих солнечных лучей,
как заворачиваются листы писчей бумаги,
брошенные на горячие уголья;
что в обоих случаях
конвергентная серия искривлений
зависит от движения испаряющихся частиц влаги,
иные из которых нагреваются так,
что приобретают движение,
какое присуще огню.

Кривой росток-самосейка,
прозябавший из осыпавшихся семян прошлогоднего солнца,
станет теперь различимым, только налившись пурпурным
теплой золы, еще не остывшего философского камня,
как цикада – неразличимой,
только слившись с ним.

Божественный Платон, любитель смокв

Степень приближения к лету такова,
что то, что было три недели назад
или три месяца назад,
представляется одинаково вчерашним,
словно весна пала жертвой ее предела
как предела между весной и летом, летом
и осенью, осенью и зимой,
зимой и весной,
а ее и не было.

Степень приближения к бесконечному?
Да. Но она по-прежнему является
функцией географической широты.
В довершение к почтенного возраста теориям древних греков,
говоривших примерно то же о степени пригодности
той или иной местности
для жизни людей.

Но лето придет незаметно:
не дав испугаться его приближения.

Воздух, что пустоцвет.
Его полуосознаваемое ничто, в аттических
по чистоте стиля, хорошо освещенных утрах, —
пуховидный цветок шелковицы,
этой, вот уж действительно,
смоковницы умеренных наших широт, —
ненавязчивый призрак, еще не вызванный к жизни воспоминанием
о лопнувшей, белой с розовым,
винной ягоде.

Винноягодник-славка, дрозд-пересмешник... —
в числе любителей смокв, каким был философ Платон.
И если бы язык был строгим, необходимым
звуковым олицетворением мысли,
то эта последняя должна была бы всюду
проявляться в одних и тех же звуках:
быть подобной пению птиц.

Начиная с самой высокой *соль*,
нежный флейтовый полутон затем поступательно понижается.
Как если бы винноягодник-славка выдавал секрет
пяти нисходящих нот,
пересмешник поет:

хо-хо-хо-хо-хо...